



Борис Пастернак

ЛЮБИТЬ ИНЫХ —
ТЯЖЕЛЫЙ КРЕСТ

ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА

Любовная лирика

Борис Пастернак

Любить иных тяжелый крест...

«Центрполиграф»

1960

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Пастернак Б. Л.

Любить иных тяжелый крест... / Б. Л. Пастернак —
«Центрполиграф», 1960 — (Любовная лирика)

ISBN 978-5-227-09523-7

«Где человек, до конца понявший Пастернака? Пастернак – это тайность, иносказание, шифр», – сказала про Пастернака Марина Цветаева. Борис Пастернак – великий русский поэт, прозаик, писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе. Несмотря на колоссальный вклад, который Борис Леонидович внес в советскую литературу, после написания романа «Доктор Живаго» на него началась настоящая травля... Позже, в 1987 году, был реабилитирован, и его посмертно вернули в Союз писателей СССР. Творчество этого поэта вызывало изумление у современников. Его поэтика одновременно проста и сложна, сдержанна и эмоциональна, понятна и изысканна. Она восхищает многообразием ассоциаций и звуков... Борис Пастернак всегда нравился женщинам, а они ему. Он был влюбчив и не мог творить без романтического флера. Легкого, возвышенного, окрыляющего и всегда чуточку нового. Он был увлекающимся человеком, Поэтом с большой буквы, ему нужно было гореть, любить. Любовь в лирике Пастернака присутствует повсеместно. Прочтите, прикоснитесь к строкам, которые хочется повторять снова и снова...

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-227-09523-7

© Пастернак Б. Л., 1960

© Центрполиграф, 1960

Содержание

Уходя, не оглядывайся	8
Рождение поэта в горячке любовного несчастья	9
Стрдание отвергнутой любви	9
Марбург	10
Семнадцатый – год Пастернака	13
Пахнет сырой резедой горизонт	13
«Здесь прошелся загадки таинственный ноготь...»	14
«Грудь под поцелуи, как под рукомойник!...»	15
Сестра моя – жизнь...	16
Памяти демона	16
Тоска	16
Про эти стихи	17
«Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе...»	18
Плачущий сад	18
Зеркало	19
Девочка	20
«Ты в ветре, веткой пробуящем...»	21
Дождь	21
Из суеверья	22
Не трогать	23
«Ты так играла эту роль!...»	23
Подражатели	23
«Душистою веткою машучи...»	24
Образец	24
Сложив весла	26
Весенний дождь	26
Свистки милиционеров	27
Звезды летом	27
Уроки английского	28
Определение поэзии	29
Определение души	29
Болезни земли	30
Определение творчества	30
Наша гроза	31
Заместительница	32
Mein liebchen, was willst du noch mehr?	33
Распад	34
Душная ночь	35
Степь	36
Мучкап	37
Муки мучкапской чайной	37
«Попытка душу разлучить...»	38
У себя дома	39
Как у них	40
Елене	40
Лето	42

Гроза, моментальная навек	42
Послесловье	43
Конец	44
Нахлынуло все то, что есть, что я когда-нибудь забуду... Борис	46
Пастернак	
Иссякшие силы	46
Из поэмы «Спекторский»	47
«Не волнуйся, не плачь, не труди...»	48
«Стихи мои, бегом, бегом...»	49
«Годами когда-нибудь в зале концертной...»	50
Душа моя, печальница...	51
Вся суть твоя мне по сердцу	51
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Борис Леонидович Пастернак

Любить иных тяжелый крест...

© Пастернак Б.Л., наследники, 2021

© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2021



Уходя, не оглядывайся

И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
Откровения. Гл. 21, ст. 4



Поэзия Бориса Пастернака (1890–1960) – это отражение личности поэта, выросшего в семье известного художника и талантливой пианистки. С первых попыток в его стихах просматривается особый стиль, нестандартное построение художественных приемов и средств. Творчество этого поэта вызывало изумление у современников. Его поэтика одновременно проста и сложна, сдержана и эмоциональна, понятна и изыскана. Она восхищает многообразием ассоциаций и звуков.

Этот поэт узнаваем. Он и талантливый художник, и умный собеседник, и поэт-гражданин. Его творческий путь был нелегким. Признанием большого литературного таланта Бориса Пастернака явилась присужденная поэту в 1958 году Нобелевская премия. Тогда Пастернака вынудили отказаться от этой премии. В 1989 году она была возвращена поэту посмертно.

Борис Пастернак всегда нравился женщинам, а они ему. Он был влюбчив и не мог творить без романтического флера. Легкого, возвышенного, окрыляющего и всегда чуточку нового. Он был увлекающимся человеком, Поэтом с большой буквы, ему нужно было гореть, любить. Любовь в лирике Пастернака присутствует повсеместно.

В сборнике «Второе рождение» автор обращается к своей бывшей супруге. Просит не печалиться по поводу развода. Он посвящает ей стих, говорит, что та навсегда останется для него опорой и товарищем. Их же любовь оказалась обманом. Вскоре он нашел себе новую спутницу жизни.

За счет наличия сразу двух женщин, этот цикл получился весьма драматичным. Герой в произведении восторжен, воодушевлен любовью. Благодаря новому, только зародившемуся чувству, у него появляется желание жить и творить. Он восхищается своей возлюбленной и всячески подчеркивает это в стихах. Любимая для героя – целая жизнь.

В женщине Пастернак превыше всего ставил естественность, искренность, умение быть самой собою. Он ждал от женщины активного проявления её любви. Первое впечатление является для Пастернака ценным: «Образ, который всегда стоит передо мной и меня спасает: образ нашей встречи». В этот момент за внешним обликом женщины, которая привлекла внимание поэта, обязательно скрывается какая-то таинственность, загадочность. Такой была встреча с последней возлюбленной, которой посвящены стихи зрелого Пастернака.



Рождение поэта в горячке любовного несчастья

Ида, величавая, просто до трагизма для меня, прекрасная, – оскорбляемая поклонением всех, одинокая, темная для себя, темная для меня, и прекрасная, прекрасная в каждом отдельном шаге, в каждом вмешательстве ветра, в каждом соседстве деревьев.

Борис Пастернак

Страдание отвергнутой любви

Семья Высоцких относилась к числу богатейших семей московских и российских предпринимателей в годы перед Первой мировой войной. Борис любил Иду с 14 лет, а она, дочь очень богатого купца, смотрела на него свысока.

Летом 1912 года Борис Пастернак изучал философию в Марбургском университете в Германии. Он неожиданно узнал, что сестры Высоцкие проездом из Бельгии в Берлин, где в это время находились их родители, собираются заехать в Марбург, чтобы навестить его. Сестры Высоцкие приехали в Марбург 12 июня и пробыли в нем пять дней.

Он отправился на встречу с Идой, сделал ей предложение и получил отказ. Потом был отъезд сестер, проводы их на вокзал, отчаянный прыжок на подножку поезда на следующее утро, с бесцельной поездкой в Берлин вдогон отвергнутому чувству, одинокое возвращение в Марбург и рыдание в дешевой гостинице.

Ида не стала спутницей гения, но невольно стала его музой, вдохновительницей, и хотела она этого или нет, осознанно или неосознанно сделала юного Бориса Пастернака истинным поэтом, проведя его через страдание отвергнутой любви.

После 16 июня многое – если не все – в жизни Пастернака переменялось. Вскоре он уехал из Марбурга в Италию и зимой 1913 года возвратился в Москву, чтобы всецело отдаться лирической стихии поэзии.

Спустя многие годы Ида Давидовна пожалела о том, что отвергла предложение Бориса Пастернака стать его женой. Ида вышла замуж за человека своего круга, как и подобало наследнице преуспевающей купеческой династии. Но мысли о пылком поклоннике, необычном юноше дней ее молодости не оставляли Иду. Она не раз пыталась наладить связь с Борисом, писала ему. И он ей даже отвечал. Но жизнь шла своим чередом – его ждали новые переживания, новая любовь. Для Иды у него оставалась лишь дружба.

Считается, что это печальное событие и сделало Пастернака поэтом.

Марбург

Я вздрагивал. Я загорался и гас.
Я трясся. Я сделал сейчас предложение,—
Но поздно, я сдрейфил, и вот мне — отказ.
Как жаль ее слез! Я святого блаженной.

Я вышел на площадь. Я мог быть сочтен
Вторично родившимся. Каждая малость
Жила и, не ставя меня ни во что,
В прощальном значенье своем подымалась.

Плитняк раскалялся, и улицы лоб
Был смугл, и на небо глядел исподлобья
Булыжник, и ветер, как лодочник, греб
По лицам. И все это были подобья.

Но, как бы то ни было, я избегал
Их взглядов. Я не замечал их приветствий.
Я знать ничего не хотел из богатств.
Я вон вырывался, чтоб не разреветься.

Инстинкт прирожденный, старик-подхалим,
Был невыносим мне. Он крался бок о бок
И думал: «Ребятня зазноба. За ним,
К несчастью, придется присматривать в оба».

«Шагни, и еще раз», — твердил мне инстинкт,
И вел меня мудро, как старый схоластик,
Чрез девственный, непроходимый тростник
Нагретых деревьев, сирени и страсти.

«Научишься шагом, а после хоть в бег», —
Твердил он, и новое солнце с зенита
Смотрело, как сызнава учат ходьбе
Туземца планеты на новой планиде.

Одних это все ослепляло. Другим —
Той тьмою казалось, что глаз хоть выколи.
Копались цыплята в кустах георгин,
Сверчки и стрекозы, как часики, тикали.

Плыла черепица, и полдень смотрел,
Не смаргивая, на кровли. А в Марбурге
Кто, громко свища, мастерил самострел,
Кто молча готовился к Троицкой ярмарке.

Желтел, облака пожирая, песок.
Предгрозые играло бровями кустарника.
И небо спекалось, упав на кусок
Кровоостанавливающей арники.

В тот день всю тебя, от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму
Шекспирову,
Носил я с собою и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал.

Когда я упал пред тобой, охватив
Туман этот, лед этот, эту поверхность
(Как ты хороша!) – этот вихрь духоты —
О чем ты? Опомнись! Пропало. Отвергнуто.

.....

Тут жил Мартин Лютер. Там – братья
Гримм.
Когтистые крыши. Деревья. Надгробья.
И все это помнит и тянется к ним.
Все – живо. И все это тоже – подобья.

О, нити любви! Улови, перейми.
Но как ты громаден, обезьяний,
Когда над надмирными жизни дверьми,
Как равный, читаешь свое описание!

Когда-то под рыцарским этим гнездом
Чума полыхала. А нынешний жуел —
Насупленный лязг и полет поездов
Из жарко, как улы, курящихся дупел.

Нет, я не пойду туда завтра. Отказ —
Полнее прощанья. Все ясно. Мы квиты.
Да и оторвусь ли от газа, от касс, —
Что будет со мною, старинные плиты?

Повсюду портпледы разложит туман,
И в обе оконницы вставят по месяцу.
Тоска пассажиркой скользнет по томам
И с книжкой на оттоманке поместится.

Чего же я трушу? Ведь я,
как грамматику,
Бессонницу знаю. Стрясется – спасут.
Рассудок? Но он – как луна для лунатика.
Мы в дружбе, но я не его сосуд.

Ведь ночи играть садятся в шахматы
Со мной на лунном паркетном полу,
Акацией пахнет, и окна распахнуты,
И страсть, как свидетель, сидит в углу.

И тополь – король. Я играю с бессонницей.
И ферзь – соловей. Я тянусь к соловью.
И ночь побеждает, фигуры сторонятся,
Я белое утро в лицо узнаю.

1916

Семнадцатый – год Пастернака

*Рассказали страшное,
Дали точный адрес.*

Борис Пастернак

Пахнет сырой резедой горизонт

Книга стихов поэта «Сестра моя – жизнь...» имеет своеобразный подзаголовок: «Лето 1917 года». Эту книгу Борис Леонидович называет «написанной по личному поводу книгой лирики». Героиня стихов – Елена Виноград.

Первая влюбленность в эту девушку, еще тринадцатилетнюю, и первое упоминание о ней в письмах окрашены налетом того демонизма на грани истерики, который вообще был принят в московской интеллигентской среде: Ольга Фрейденберг, кузина поэта, вспоминала, что Боря был с надрывом и чудачествами, «как все Пастернаки».

У Елены был официальный жених Сергей Листопад – «красавец прапорщик», который отговорил Бориса идти добровольцем на фронт. Он погиб осенью шестнадцатого года. Елена считает, что никогда не будет счастлива в мире, где больше нет Сережи.

В 1916–1917 годах Елена училась в Москве на Высших женских курсах, а ее брат, тесно связанный дружбой с Пастернаком, – в университете. Они стали часто видеться, весенними ночами гуляли по Москве. Пастернак взалел писал стихи, значительная часть которых впоследствии и составила книгу «Сестра моя жизнь». Первый же визит Елены к нему вызвал короткую размолвку – он не хотел ее отпускать, она укоризненно сказала: «Боря!» – он отступил.

Пастернак вспоминал об этом времени как о счастливейшем, не забывая, однако, что на всем поведении возлюбленной лежал флер печали, налет загадки – разрешение которой он с юношеской наивностью откладывал на потом.

Летом 1917 года Е. Виноград уехала из Москвы, оставив Пастернаку свою фотографию:

Я живу с твоей карточкой, с той, что хохочет,
У которой суставы в запястьях хрустят,
Той, что пальцы ломает и бросить не хочет,
У которой гостят и гостят и грустят.

В 1918 году произошёл разрыв Пастернака с Еленой. Она благополучно дожила до 1987 года. Елена Виноград вышла замуж за некоего Дороднова, владельца небольшой мануфактуры под Ярославлем, чтобы успокоить мать, волновавшуюся за ее будущее. Брак не был счастливым, вскоре он распался, у Елены Александровны осталась дочь.

Борис Пастернак, еще долго мучимый этой любовной страстью, в 1922 году создает лучшую свою книгу, ставшую памятником русской жизни 1917 года, сборник стихов «Сестра моя – жизнь... (лето 1917 года)».

«Здесь прошелся загадки таинственный ноготь...»

Здесь прошелся загадки таинственный ноготь.
– Поздно, выплюсь, чем свет перечту и пойму.
А пока не разбудят, любимую трогать
Так, как мне, не дано никому.

Как я трогал тебя! Даже губ моих медью
Трогал так, как трагедией трогают зал.
Поцелуй был как лето. Он медлил и медлил,
Лишь потом раздражалась гроза.

Пил, как птицы. Тянул до потери сознания.
Звезды долго горлом текут в пищевод,
Соловьи же заводят глаза с содроганьем,
Осушая по капле ночной небосвод.

1918

«Грудь под поцелуи, как под рукомойник!...»

Грудь под поцелуи, как под рукомойник!
Ведь не век, не сряду лето бьет ключом.
Ведь не ночь за ночью низкий рев гармоник
Подымаем с пыли, топчем и влечем.

Я слышал про старость. Страшны прорицанья!
Рук к звездам не вскинет ни один бурун.
Говорят – не веришь. На лугах лица нет,
У прудов нет сердца, Бога нет в бору.

Расколышь же душу! Всю сегодня выпень.
Это полдень мира. Где глаза твои?
Видишь, в высях мысли сбились в белый кипень
Дятлов, туч и шишек, жара и хвои.

Здесь пресеклись рельсы городских трамваев.
Дальше служат сосны. Дальше им нельзя.
Дальше – воскресенье. Ветки отрывая,
Разбежится просек, по траве скользя.

Просевая полдень, Троицын день, гулянье,
Просит роща верить: мир всегда таков.
Так задуман чащей, так внушен поляне,
Так на нас, на ситцы пролит с облаков.

1917

Сестра моя – жизнь...

*Бушует лес, по небу пролетают
грозовые тучи,
тогда в движении бури мне видятся,
девочка, твои черты.*

Н. Ленау

Памяти демона

Приходил по ночам
В синеве ледника от Тамары.
Парой крыл намечал,
Где гудеть, где кончаться кошмару.

Не рыдал, не сплетал
Оголенных, исхлестанных, в шрамах.
Уцелела плита
За оградой грузинского храма.

Как горбунья дурна,
Под решеткою тень не кривлялась.
У лампы зурна,
Чуть дыша, о княжне не справлялась.

Но сверканье рвалось
В волосах, и, как фосфор, трещали.
И не слышал колосе,
Как седеет Кавказ за печалью.

От окна на аршин,
Пробирая шерстинки бурнуса,
Клялся льдами вершин:
Спи, подруга, – лавиной вернуса.

1917

Тоска

Для этой книги на эпиграф
Пустыни сипли,
Ревели львы и к зорям тигров
Тянулся Киплинг.

Зиял, иссякнув, страшный кладезь
Тоски отверстой,
Качались, ляская и глядясь
Иззябшей шерстью.

Теперь качаться продолжая
В стихах вне ранга,
Бредут в туман росой лужаек
И снятся Гангу.

Рассвет холодной ехидной
Вползает в ямы,
И в джунглях сырость панихиды
И фимиама.

1917

Про эти стихи

На тротуарах истолку
С стеклом и солнцем пополам.
Зимой открою потолку
И дам читать сырым углам.

Задекламирует чердак
С поклоном рамам и зиме,
К карнизам прянет чехарда
Чудаществ, бедствий и замет.

Буран не месяц будет мечь,
Концы, начала заметет.
Внезапно вспомню: солнце есть;
Увижу: свет давно не тот.

Галчонком глянет Рождество,
И разгулявшийся денек
Откроет много из того,
Что мне и милой невдомек.

В кашне, ладонью заслонясь,
Сквозь фортку крикну детворе:
Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?

Кто тропку к двери проторил,
К дыре, засыпанной крупой,
Пока я с Байроном курил,
Пока я пил с Эдгаром По?

Пока в Дарьял, как к другу, вхож,
Как в ад, в цейхгауз и в арсенал,
Я жизнь, как Лермонтова дрожь,
Как губы в вермут окунал.

1917

«Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе...»

Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе
Расшиблась весенним дождем обо всех,
Но люди в брелоках высоко брюзгливы
И вежливо жалят, как змеи в овсе.

У старших на это свои есть резоны.
Бесспорно, бесспорно смешон твой резон,
Что в грозу лиловы глаза и газоны
И пахнет сырой резедой горизонт.

Что в мае, когда поездов расписание
Камышинской веткой читаешь в купе,
Оно грандиозней святого писанья
И черных от пыли и бурь канапе.

Что только нарвется, разлаявшись, тормоз
На мирных сельчан в захолустном вине,
С матрацев глядят, не моя ли платформа,
И солнце, садясь, соболезнает мне.

И в третий плеснув, уплывает звоночек
Сплошным извиненьем: жалею, не здесь.
Под шторку несет обгорающей ночью
И рушится степь со ступенек к звезде.

Мигая, моргая, но спят где-то сладко,
И фата-морганой любимая спит
Тем часом, как сердце, плеща по площадкам,
Вагонными дверцами сыплет в степи.

1917

Плачущий сад

Ужасный! – Капнет и вслушается,
Все он ли один на свете
Мнет ветку в окне, как кружевце,

Или есть свидетель.

Но давится внятно от тягости
Отеков – земля ноздревая,
И слышно: далеко, как в августе,
Полуночь в полях назревает.

Ни звука. И нет соглядатаев.
В пустынности удостоверясь,
Берется за старое – скатывается
По кровле, за желоб и через.

К губам поднесу и прислушаюсь,
Все я ли один на свете,—
Готовый навзрыд при случае,—
Или есть свидетель.

Но тишь. И листок не шелохнется.
Ни признака зги, кроме жутких
Глотков и плескания в шлепанцах
И вздохов и слез в промежутке.

1917

Зеркало

В трюмо испаряется чашка какао,
Качается тюль, и – прямой
Дорожкой в сад, в бурелом и хаос
К качелям бежит трюмо.

Там сосны враскачку воздух саднят
Смолой; там по маете
Очки по траве растерял палисадник,
Там книгу читает Тень.

И к заднему плану, во мрак, за калитку
В степь, в запах сонных лекарств
Струится дорожкой, в сучках и в улитках
Мерцающий жаркий кварц.

Огромный сад тормошится в зале
В трюмо – и не бьет стекла!
Казалось бы, все коллодий залил,
С комода до шума в стволах.

Зеркальная все б, казалось, нахлынь
Непотным льдом облила,

Чтоб сук не горчил и сирень не пахла, —
Гипноза залить не могла.

Несметный мир семенит в месмеризме,
И только ветру связать,
Что ломится в жизнь и ломается в призме,
И радо играть в слезах.

Души не взорвать, как селитрой залежь,
Не вырыть, как заступом клад.
Огромный сад тормошится в зале
В трюмо – и не бьет стекла.

И вот, в гипнотической этой отчизне
Ничем мне очей не задуть.
Так после дождя проползают слизи
Глазами статуй в саду.

Шуршит вода по ушам, и, чирикнув,
На цыпочках скачет чиж.
Ты можешь им выпачкать губы черникой,
Их шалостью не опоишь.

Огромный сад тормошится в зале,
Подносит к трюмо кулак,
Бежит на качели, ловит, салит,
Трясет – не бьет стекла!

1917

Девочка

*Ночевала тучка золотая
На груди утеса великана.*

Из сада, с качелей, с бухты-барахты
Вбегают ветка в трюмо!
Огромная, близкая, с каплей смарагда
На кончике кисти прямой.

Сад застлан, пропал за ее беспорядком,
За бьющей в лицо кутерьмой.
Родная, громадная, с сад, а характером —
Сестра! Второе трюмо!

Но вот эту ветку вносят в рюмке
И ставят к раме трюмо.

Кто это, – гадает, – глаза мне рюмит
Тюремной людской дремой?

1917

«Ты в ветре, веткой пробуящем...»

Ты в ветре, веткой пробуящем,
Не время ль птицам петь,
Намокшая воробышком
Сиреневая ветвь!

У капель – тяжесть запонок,
И сад слепит, как плес,
Обрызганный, закапанный
Мильоном синих слез.

Моей тоскою вынынчен
И от тебя в шипах,
Он ожил ночью нынешней,
Забормотал, запах.

Всю ночь в окошко торкался,
И ставень дребезжал.
Вдруг дух сырой прогорклости
По платью пробежал.

Разбужен чудным перечнем
Тех прозвищ и времен,
Обводит день теперешний
Глазами анемон.

1917

Дождь

Надпись на «Книге степи»

Она со мной. Наигрывай,
Лей, смейся, сумрак рви!
Топи, теки эпитафией
К такой, как ты, любви!

Снуй шелкопрядом тутовым
И бейся об окно.
Окутывай, опутывай,
Еще не всклянь темно!

– Ночь в полдень, ливень
– гребень ей!
На щебне, взмок – возьми!
И – целыми деревьями
В глаза, в виски, в жасмин!

Осанна тьме египетской!
Хохочут, сшиблись, – ниц!
И вдруг пахнуло выпиской
Из тысячи больниц.

Теперь бежим сощипывать,
Как стон со ста гитар,
Омытый мглой липовой
Садовый Сен-Готард.

1917

Из суеверья

Коробка с красным померанцем —
Моя каморка.
О, не об номера ж мараться
По гроб, до морга!

Я поселился здесь вторично
Из суеверья.
Обоев цвет, как дуб, коричнев
И – пенье двери.

Из рук не выпускал защелки.
Ты вырывалась.
И чуб касался чудной челки
И губы – фиалок.

О неженка, во имя прежних
И в этот раз твой
Наряд щебечет, как подснежник
Апрелю: «Здравствуй!»

Грех думать – ты не из весталок:
Вошла со стулом,
Как с полки, жизнь мою достала
И пыль обдула.

1917

Не трогать

«Не трогать, свежевыкрашен», —
Душа не береглась,
И память – в пятнах икр и щек,
И рук, и губ, и глаз.

Я больше всех удач и бед
За то тебя любил,
Что пожелтый белый свет
С тобой – белей белил.

И мгла моя, мой друг, божусь,
Он станет как-нибудь
Белей, чем бред, чем абажур,
Чем белый бинт на лбу!

1917

«Ты так играла эту роль!...»

Ты так играла эту роль!
Я забывал, что сам – суфлер!
Что будешь петь и во второй,
Кто б первой ни совлек.

Вдоль облаков шла лодка. Вдоль
Лугами кошенных кормов.
Ты так играла эту роль,
Как лепет шлюз – кормой!

– И, низко рея на руле
Касаткой об одном крыле,
Ты так! – ты лучше всех ролей
Играла эту роль!

1917

Подражатели

Пекло, и берег был высок.
С подплывшей лодки цепь упала
Змеей гремучею – в песок,
Гремучей ржавчиной – в купаву.

И вышли двое. Под обрыв
Хотелось крикнуть им: «Простите,
Но бросьтесь, будьте так добры,
Не врозь, так в реку, как хотите.

Вы верны лучшим образцам.
Конечно, ищущий обрящет.
Но... бросьте лодкою бряцать:
В траве терзается образчик».

1917

«Душистою веткою машучи...»

Душистою веткою машучи,
Впивая впотьмах это благо,
Бежала на чашечку с чашечки
Грозой одуренная влага.

На чашечку с чашечки скатываясь,
Скользнула по двум, – и в обеих
Огромною каплей агатовою
Повисла, сверкает, робеет.

Пусть ветер, по таволге веющий,
Ту капельку мучит и плющит.
Цела, не дробится, – их две еще
Целующихся и пьющих.

Смеются и вырваться силятся
И выпрямиться, как прежде,
Да капле из рылец не вылиться,
И не разлучатся, хоть режьте.

1917

Образец

О, бедный Homo sapiens,
Существованье – гнет.
Былые годы за пояс
Один такой заткнет.

Все жили в сушь и впроголодь,
В борьбе ожесточась,
И никого не трогало,
Что чудо жизни – с час.

С тех рук впивавши ландыши,
На те глаза дышав,
Из ночи в ночь валандавшись,
Гормя горит душа.

Одна из южных мазанок
Была других южней.
И ползала, как пасынок,
Трава ногам у ней.

Сушился холст. Бросается
Еще сейчас к груди
Плетень в ночной красавице,
Хоть год и позади.

Он незабвенен тем еще,
Что пылью припухал,
Что ветер лускал семечки,
Сорил по лопухам.

Что незнакомой мальвою
Вел, как слепца, меня,
Чтоб я тебя вымаливал
У каждого плетня.

Сошел и стал окидывать
Тех новых луж масла,
Разбег тех рощ ракитовых,
Куда я письма слал.

Мой поезд только тронулся,
Еще вокзал, Москва,
Плясали в кольцах, в конусах
По насыпи, по рвам,

А уж гудели кобзами
Колодцы, и, пылясь,
Скрипели, бились об землю
Скирды и тополя.

Пусть жизнью связи портятся,
Пусть гордость ум вредит,
Но мы умрем со спертостью
Тех розысков в груди.

Сложна весла

Лодка колотится в сонной груди,
Ивы навязали, целуют в ключицы,
В локти, в уключины – о погоды,
Это ведь может со всяким случиться!

Этим ведь в песне тешатся все.
 Это ведь значит – пепел сиреневый,
 Роскошь крошеной ромашки в росе,
 Губы и губы на звезды выменивать!

Это ведь значит – обнять небосвод,
Руки сплести вокруг Геракла громадного,
Это ведь значит – века напролет
Ночи на шелканье славок проматывать!

1917

Весенний дождь

Усмехнулся черемухе, всхлипнул, смочил
Лак экипажей, деревьев трепет.
Под луною на закате гуськом скрипачи
Пробираются к театру. Граждане, в цепи!

Лужи на камне. Как полное слез
Горло – глубокие розы, в жгучих,
Влажных алмазах. Мокрый нахлест
Счастья – на них, на ресницах, на тучах.

Впервые луна эти цепи и трепет
Платьев и власть восхищенных уст
Гипсовую эпопею лепит,
Лепит никем не лепленный бюст.

В чем это сердце вся кровь его быстро
Хлынула к славе, схлынув со щек?
Вон она бьется: руки министра
Рты и аорты сжали в пучок.

Это не ночь, не дождь и не хором
Рвущееся: «Керенский, ура!»,
Это слепящий выход на форум
Из катакомб, безысходных вчера.

Это не розы, не рты, не ропот
Толп, это здесь, пред театром – прибой
Заколебавшейся ночи Европы,
Гордой на наших асфальтах собой.

1917

Свистки милиционеров

Дворня бастует. Брезгуя
Мусором пыльным и тусклым,
Ночи сигают до брезгу
Через заборы на мускулах.

Возятся в вязах, падают,
Не удержавшись, с деревьев,
Вскакивают: за оградою
Север злодейств сереет.

И вдруг – из садов, где твой
Лишь глаз ночевал, из милого
Душе твоей мрака, плотвой
Свисток расплескавшийся выловлен.

Милиционером зажат
В кулак, как он дергает жабрами,
И горлом, и глазом, назад
По-рыбы наискось задранным!

Трепещущего серебра
Пронзительная горошина,
Как утро, бодряще мокра,
Звездой за забор переброшена.

И там, где тускнеет восток
Чахоткою летнего Тиволи,
Валяетсядохлый свисток,
В пыли агонической вывалян.

1917

Звезды летом

Рассказали страшное,
Дали точный адрес,
Отпирают, спрашивают,
Движутся, как в театре.

Тишина, ты – лучшее
Из всего, что слышал.
Некоторых мучает,
Что летают мыши.

Июльской ночью слободы —
Чудно белокуры.
Небо в бездне поводов,
Чтоб набедокурить.

Блещут, дышат радостью,
Обдают сияньем,
На таком-то градусе
И меридиане.

Ветер розу пробует
Приподнять по просьбе
Губ, волос и обуви,
Подолов и прозвищ.

Газовые, жаркие,
Осыпают в гравий
Все, что им нашаркали,
Все, что наиграли.

1917

Уроки английского

Когда случилось петь Дездемоне, —
А жить так мало оставалось, —
Не по любви, своей звезде, она —
По иве, иве разрыдалась.

Когда случилось петь Дездемоне
И голос завела, крепясь,
Про черный день чернейший демон ей
Псалом плакучих русл припас.

Когда случилось петь Офелии, —
А жить так мало оставалось, —
Всю сушь души взмело и свеяло,
Как в бурю стебли с сеновала.

Когда случилось петь Офелии, —
А горечь слез осточертела, —
С какими канула трофеями?

С охалкой верб и чистотела.

Дав страсти с плеч отлечь, как рубищу,
Входили, с сердца замираньем,
В бассейн вселенной, стан свой любящий
Обдать и оглушить мирами.

1917

Определение поэзии

Это – круто налившийся свист,
Это – щелканье сдавленных льдинок,
Это – ночь, леденящая лист,
Это – двух соловьев поединок,

Это – сладкий заглохший горох,
Это – слезы вселенной в лопатках,
Это – с пультов и флейт – Фигаро
Низвергается градом на грядку.

Все, что ночи так важно сыскать
На глубоких купаленных доньях,
И звезду донести до садка
На трепещущих мокрых ладонях.

Площе досок в воде – духота.
Небосвод завалился ольхою.
Этим звездам к лицу б хохотать,
Ан вселенная – место глухое.

1917

Определение души

Спелой грушею в бурю слететь
Об одном безраздельном листе.
Как он предан – расстался с суком!
Сумасброд – задохнется в сухом!

Спелой грушею, ветра косей.
Как он предан – «Меня не затреплет!»
Оглянись: отгремела в красе,
Отпылала, осыпалась – в пепле.

Нашу родину буря сожгла.
Узнаешь ли гнездо свое, птенчик?

О мой лист, ты пугливей щегла!
Что ты бьешься, о шелк мой застенчивый?

О, не бойся, приросшая песнь!
И куда порываться еще нам?
Ах, наречье смертельное «здесь» —
Невдомек содроганью сращенному.

1917

Болезни земли

О, еще! Раздастся ль только хохот
Перламутром, Иматрой бацилл,
Мокрым гулом, тьмой стафилококков,
И блеснут при молниях резцы,

Так – шабаш! Нешаткие титаны
Захлебнутся в черных сводах дня.
Тени стянет трепетом tetanus,
И медянок запылит столбняк.

Вот и ливень. Блеск водобоязни,
Вихрь, обрывки бешеной слюны.
Но откуда? С тучи, с поля, с Клязьмы
Или с сардонической сосны?

Чьи стихи настолько нашумели,
Что и гром их болью изумлен?
Надо быть в бреду по меньшей мере,
Чтобы дать согласие быть землей.

1917

Определение творчества

Разметав отвороты рубашки,
Волосато, как торс у Бетховена,
Накрывает ладонью, как шашки,
Сон, и совесть, и ночь, и любовь оно.

И какую-то черную доведу,
И – с тоскою какою-то бешеной —
К преставлению света готовит,
Конноборцем над пешками пешими.

А в саду, где из погребя, со льду,

Звезды благоуханно разохались,
Соловьем над лозою Изольды
Захлебнулась Тристанова заholодь.

И сады, и пруды, и ограды,
И кипящее белыми воплями
Мирозданье – лишь страсти разряды,
Человеческим сердцем накопленной.

1917

Наша гроза

Гроза, как жрец, сожгла сирень
И дымом жертвенным застлала
Глаза и тучи. Расправляй
Губами вывих муравья.

Звон ведер сшиблен набекрень.
О, что за жадность: неба мало?!
В канаве бьется сто сердец.
Гроза сожгла сирень, как жрец.

В эмали – луг. Его лазурь,
Когда бы зябли, – соскоблили.
Но даже зяблик не спешит
Стряхнуть алмазный хмель с души.

У клочья пьют еще грозу
Из сладких шапок изобилья,
И клевер бурен и багров
В бордовых брызгах маляров.

К малине липнут комары.
Однако ж хобот малярный,
Как раз сюда вот, изувер,
Где роскошь лета розовой?!

Сквозь блузу заронить нарыв
И сняться красной балериной?
Всадить стрекало озорства,
Где кровь как мокрая листва?!

О, верь игре моей, и верь
Гремящей вслед тебе мигрени!
Так гневу дня судьба гореть
Дичком в черешенной коре.

Поверила? Теперь, теперь
Приблизь лицо, и, в озарении
Святого лета твоего,
Раздую я в пожар его!

Я от тебя не утаю:
Ты прячешь губы в снег жасмина,
Я чую на моих тот снег,
Он тает на моих во сне.

Куда мне радость деть мою?
В стихи, в графленую осьмину?
У них растрескались уста
От ядов писчего листа.

Они, с алфавитом в борьбе,
Горят румянцем на тебе.

1917

Заместительница

Я живу с твоей карточкой, с той, что хохочет,
У которой суставы в запястьях хрустят,
Той, что пальцы ломает и бросить не хочет,
У которой гостят и гостят и грустят.

Что от треска колод, от бравады Ракочи,
От стекляшек в гостинной, от стекла и гостей
По пианино в огне пробежится и вскочит
От розеток, костяшек, и роз, и костей.

Чтоб, прическу ослабив, и чайный и шалый,
Зачаженный бутон заколов за кушак,
Провальсировать к славе, шутя, полушалок
Закусивши, как муку, и не дыша.

Чтобы, комкая корку рукой, мандарина
Холодящие дольки глотать, торопясь
В опоясанный люстрой, позади, за гардиной,
Зал, испариной вальса запахший опять.

Так сел бы вихрь, чтоб на пари
Порыв паров в пути
И мглу и иглы, как мюрид,
Не жмуря глаз снести.

И объявить, что не скакун,

Не шалый шепот гор,
Но эти розы на боку
Несут во весь опор.

Не он, не он, не шепот гор,
Не он, не топ подков,
Но только то, но только то,
Что – стянута платком.

И только то, что тюль и ток,
Душа, кушак и в такт
Смерчу умчавшийся носок
Несут, шумя в мечтах.

Им, им – и от души смеша,
И до упаду, в лоск,
На зависть мчащимся мешкам,
До слез, – до слез!

1917

Mein liebchen, was willst du noch mehr?

По стене сбежали стрелки.
Час похож на таракана.
Брось, к чему швырять тарелки,
Бить тревогу, бить стаканы?

С этой дачею дощатой
Может и не то случиться.
Счастье, счастьем нет пощады!
Гром не грянул, что креститься?

Может молния ударить, —
Вспыхнет мокрою кабинкой.
Или всех щенят раздарят.
Дождь крыло пробьет дробинкой.

Все еще нам лес – передней.
Лунный жар за елью – печью,
Все, как стираный передник,
Туча сохнет и лепечет.

И когда к колодцу рвется
Смерч тоски, то мимоходом
Буря хвалит домоводство.
Что тебе еще угодно?

Год сгорел на керосине
Залетевшей в лампу мошкой.
Вон, зарею серо-синей
Встал он сонный, встал намокший.

Он глядит в окно, как в дужку,
Старый, страшный состраданьем.
От него мокра подушка,
Он зарыл в нее рыданья.

Чем утешить эту ветошь?
О, ни разу не шутивший,
Чем запущенного лета
Грусть заглохшую утишить?

Лес навис в свинцовых пасмах,
Сед и пасмурен репейник,
Он – в слезах, а ты – прекрасна,
Вся как день, как нетерпенье!

Что он плачет, старый олух?
Иль видал каких счастливей?
Иль подсолнечники в селах
Гаснут – солнца – в пыль и ливень?

1917

Распад

Вдруг стало видимо далеко во все концы света.
Гоголь

Куда часы нам затесать?
Как скоротать тебя, Распад?
Поволжьем мира, чудеса
Взялись, бушуют и не спят.

И где привык сдаваться глаз
На милость засухи степной,
Она, туманная, взвилась
Революционной копной.

По элеваторам, вдали,
В пакгаузах, очумив крысят,
Пылают балки и кули,
И кровли гаснут и росят.

У звезд немой и жаркий спор:

Куда девался Балашов?
В скольких верстах? И где Хопер?
И воздух степи всполошен:

Он чует, он впивает дух
Солдатских бунтов и зарниц.
Он замер, обращаясь в слух.
Ложится – слышит: обернись!

Там – гул. Ни лечь, ни прикорнуть.
По площадям летает трут.
Там ночь, шатаясь на корню,
Целует уголь поутру.

1917

Душная ночь

Накрапывало, – но не гнулись
И травы в грозовом мешке.
Лишь пыль глотала дождь в пилюлях,
Железо в тихом порошке.

Селенье не ждало целенья,
Был мак, как обморок, глубок,
И рожь горела в воспаленье.
И в лихорадке бредил Бог.

В осиротелой и бессонной,
Сырой, всемирной широте
С постов спасались бегством стоны,
Но вихрь, зарывшись, коротел.

За ними в бегстве слепли следом
Косые капли. У плетня
Меж мокрых веток с ветром бледным
Шел спор. Я замер. Про меня!

Я чувствовал, он будет вечен,
Ужасный, говорящий сад.
Еще я с улицы за речью
Кустов и ставней – не замечен;

Заметят – некуда назад:
Навек, навек заговорят.

1917

Плыл Плач Комариный, Ползли Мураши,
Волчцы по Чулкам Торчали?

Закрой их, любимая! Запорошит!
Вся степь как до грехопаденья:
Вся – миром объята, вся – как парашют,
Вся – дыблящееся виденье!

1917

Мучкап

Душа – душна, и даль табачного
Какого-то, как мысли, цвета.
У мельниц – вид села рыбацкого:
Седые сети и корветы.

Чего там ждут, томя картиною
Корыт, клешней и лишних крыльев,
Застлавши слез излишней тиной
Последний блеск на рыбьем рыле?

Ах, там и час скользит, как камешек
Заливом, мелью рикошета!
Увы, не тонет, нет, он там еще,
Табачного, как мысли, цвета.

Увижу нынче ли опять ее?
До поезда ведь час. Конечно!
Но этот час объят апатией
Морской, предгромовой, кромешной.

1917

Мухи мучкапской чайной

Если бровь резьбою
Потный лоб украсила,
Значит, и разбойник?
Значит, за дверь засветло?

Но в чайной, где черные вишни
Глядят из глазниц и из мисок
На веток кудрявый девичник,
Есть, есть чему изумиться!

Солнце, словно кровь с ножа,

Смыл – и стал необычаен.
Словно преступленья жар
Заливает черным чаем.

Пыльный мак паршивым пащенком
Никнет в жажде берегущей
К дню, в душе его кипящему,
К дикой, терпкой божьей гуще.

Ты зовешь меня святым,
Я тебе и дик и чурек, —
А глыбастые цветы
На часах и на посуде?

Неизвестно, на какой
Из страниц земного шара
Отпечатаны рекой
Зной и тьяканье овчарок,

Дуб и вывески финифть,
Не стерпевшая и плашмя
Кинувшаяся от ив
К прудовой курчавой яшме.

Но текут и по ночам
Мухи с дюжин, пар и порций,
С крученого паныча,
С мутной книжки стихотворца.

Будто это бред с пера,
Не владеячи собою,
Брызнул окна запирать
Саранчою по обоям.

Будто в этот час пора
Разлететься всем пружинам,
И, жужжа, трясясь, спираль
Тополь бурей окружила.

Где? В каких местах? В каком
Дико мыслящемся крае?
Знаю только: в сушь и в гром,
Пред грозой, в июле, — знаю.

1917

«Попытка душу разлучить...»

Попытка душу разлучить
С тобой, как жалоба смычка,
Еще мучительно звучит
В названиях Ржакса и Мучкап.

Я их, как будто это ты,
Как будто это ты сама,
Люблю всей силою тщеты,
До помрачения ума.

Как ночь, уставшую сиять,
Как то, что в астме – кисея,
Как то, что даже антресоль
При виде плеч твоих трясло.

Чей шепот реял на брезгу?
О, мой ли? Нет, душою – твой
Он улетучивался с губ
Воздушной капли спиртовой.

Как в неге прояснялась мысль!
Безукоризненно. Как стон.
Как пеной, в полночь, с трех сторон
Внезапно озаренный мыс.

1917

У себя дома

Жар на семи холмах,
Голуби в тлеющем сенце.
С солнца спадает чалма:
Время менять полотенце
(Мокнет на днище ведра)
И намотать на купол.
В городе – говор мембран,
Шарканье клумб и кукол.
Надо гардину зашить:
Ходит, шагает масоном.
Как усыпительно – жить!
Как целоваться – бессонно!

Грязный, гремучий, в постель
Падает город с дороги.
Нынче за долгую степь
Веет впервые здоровьем.
Черных имен духоты
Не исчерпать.

Звезды, плацкарты, мосты,
Спать!

1917

Как у них

Лицо лазури пышет над лицом
Недышащей любимицы реки.
Подыметесь, шелохнется ли сом,-
Оглушены. Не слышат. Далеки.

Очам в снопах, как кровлям, тяжело.
Как угли, блещут оба очага.
Лицо лазури пышет над челом
Недышащей подруги в бочагах,
Недышащей питомицы осок.

То ветер смех люцерны вдоль высот,
Как поцелуй воздушный, пронесет,
То, княженикой с топи угощен,
Ползет и губы пачкает хвощом
И треплет речку веткой по щеке,
То киснет и хмелеет в тростнике.

У окуня ли екнул плавники, —
Бездонный день — огромен и пунцов.
Поднос Шелони — черен и свинцов.
Не свесть концов и не поднять руки...

Лицо лазури пышет над лицом
Недышащей любимицы реки.

1917

Елене

Я и непечатным
Словом не побрезговал бы,
Да на ком искать нам?
Не на ком и не с кого нам.

Разве просит арум
У болота милостыни?
Ночи дышат даром
Тропиками гнилостными.

Будешь – думал, чаял —
Ты с того утра виднеться,
Век в душе качаясь
Лилиею, праведница!

Луг дружил с замашкой
Фауста, что ли, Гамлета ли,
Обегал ромашкой,
Стебли по ногам летали.

Или еле-еле,
Как сквозь сон овеивая
Жемчуг ожерелья
На плече Офелиином.

Ночью бредил хутор:
Спать мешали перистые
Тучи. Дождик кутал
Ниву тихой переступью

Осторожных капель.
Юность в счастье плавала, как
В тихом детском храпе
Напанная наволока.

Думал, – Трои б век ей,
Горьких губ изгиб целуя:
Были дивны веки
Царственные, гипсовые.

Милый, мертвый фартук
И висок пульсирующий.
Спи, царица Спарты,
Рано еще, сыро еще.

Горе не на шутку
Разыгралось, навеселе.
Одному с ним жутко.
Сбесится, – управиться ли?

Плачь, шепнуло. Гложет?
Жжет? Такую ж на щеку ей!
Пусть судьба положит —
Матерью ли, мачехой ли.

1917

Лето

Тянулось в жажде к хоботкам
И бабочкам и пятнам,
Обоим память оботкав
Медовым, майным, мятным.

Не ход часов, но звон цепов
С восхода до захода
Вонзался в воздух сном шипов,
Заворожив погоду.

Бывало – нагулявшись всласть,
Закат сдавал цикадам,
И звездам, и деревьям власть
Над кухнею и садом.

Не тени – балки месяц клал,
А то бывал в отлучке,
И тихо, тихо ночь текла
Трусцой, от тучки к тучке.

Скорей со сна, чем с крыш; скорей
Забывчивый, чем робкий,
Топтался дождик у дверей,
И пахло винной пробкой.

Так пахла пыль. Так пах бурьян.
И, если разобраться,
Так пахли прописи дворян
О равенстве и братстве.

Вводили земство в волостях,
С другими – вы, не так ли?
Дни висли, в кислице блестя,
И винной пробкой пахли.

1917

Гроза, моментальная навек

А затем прощалось лето
С полустанком. Снявши шапку,
Сто слепящих фотографий
Ночью снял на память гром.

Меркла кисть сирени. В это
Время он, нарвав охапку
Молний, с поля ими трафил
Озарить управский дом.

И когда по кровле зданья
Разлилась волна злорадства
И, как уголь по рисунку,
Грянул ливень всем плетнем,

Стал мигать обвал сознания:
Вот, казалось, озарятся
Даже те углы рассудка,
Где теперь светло, как нем!

1917

Послесловье

Нет, не я вам печаль причинил.
Я не стоил забвения родины.
Это солнце горело на каплях чернил,
Как в кистях запыленной смородины.

И в крови моих мыслей и писем
Завелась кошениль.
Этот пурпур червца от меня независим.
Нет, не я вам печаль причинил.

Это вечер из пыли лепился и, пышучи,
Целовал вас, задохшись в охре, пылью.
Это тени вам щупали пульс. Это,
вышедши
За плетень, вы полям подставляли лицо
И пылали, плывя по олифе калиток,
Полумраком, золою и маком залитых.

Это – круглое лето, горев в ярлыках
По прудам, как багаж солнцепеком
заляпанных,
Сургучом опечатало грудь бурлака
И сожгло ваши платья и шляпы.

Это ваши ресницы слипались от яркости,
Это диск одичалый, рога истесав
Об ограды, болтаясь, крушил палисад.

Это – запад, карбункулом вам в волосы

Залетев и гудя, угасал в полчаса,
Осыпая багрянец с малины и бархатцев.
Нет, не я, это – вы, это ваша краса.

1917

Конец

Наяву ли все? Время ли разгуливать?
Лучше вечно спать, спать, спать, спать
И не видеть снов.

Снова – улица. Снова – полог тюлевый,
Снова, что ни ночь – степь, стог, стон,
И теперь и впредь.

Листьям в августе, с астмой в каждом атоме,
Снится тишь и темь. Вдруг бег пса
Пробуждает сад.

Ждет – улягутся. Вдруг – гигант из затеми,
И другой. Шаги. «Тут есть болт».
Свист и зов: тубо!

Он буквально ведь обливал, обваливал
Нашим шагом шлях! Он и тын
Истязал тобой.

Осень. Изжелта-сизый бисер нижится.
Ах, как и тебе, прель, мне смерть
Как приелось жить!

О, не вовремя ночь кадит маневрами
Паровозов: в дождь каждый лист
Рвется в степь, как те.

Окна сцены мне делают. Бесцельно ведь!
Рвется с петель дверь, целовав
Лед ее локтей.

Познакомь меня с кем-нибудь из вскормленных,
Как они, страдой южных нив,
Пустырей и ржи.

Но с оскоминой, но с оцепенением, с комьями
В горле, но с тоской стольких слов
Устаешь дружить!

1917

Нахлынуло все то, что есть, что я когда-нибудь забуду... Борис Пастернак

*Любовная лодка
разбилась о быт.*

Владимир Маяковский

Иссякшие силы

В начале 1920-х годов Борис встретил Евгению Лурье, которая станет его первой женой. Веселая, озорная, хорошенькая. И нрав отнюдь не кроткий. Окончила гимназию с золотой медалью, поступила на математическое отделение Высших женских курсов, но вскоре поменяла интересы на живопись, в чем в будущем преуспела. Вокруг всегда вились поклонники.

Женя была талантливейшей художницей и совершенно неподходящей Пастернаку женой. Да, очень красивая (правда, Пастернак считал ее слишком худой), умная, честолюбивая... Да, у Жени было много общего с Борисом, ее называли человеком большого душевного благородства, она разделяла его взгляды и духовные устремления.

Но Пастернак любил порядок в доме, домашние обеды и обожание – и Женя все это тоже любила. Оба мучились от бытовой неустроенности, и оба терпеть не могли всем этим заниматься. Евгения не терпела компромиссов и не хотела не могла возложить на себя хотя бы часть домашних хлопот, что и стало причиной их расставания. Пастернак был не готов стать кухаркой для художницы, она не готова была быть домохозяйкой для поэта.

К тому же, Лурье боялась стать приложением к мужу, стать просто Женей Пастернак и старалась оставаться независимой. Денег не было, и Борис брался за любую работу, понимая, что это его отрывает от поэзии, от цели и смысла его жизни.

Брак Пастернака и Лурье продлился восемь лет, но его нельзя назвать счастливым. Увлечения Женечки на стороне были не менее многочисленными, чем похождения Бориса. «Женя ушла встречать праздник в гости, со всей компанией – Асеевым, Маяковским... Я остался за хозяйку, с ребенком. В шестом часу сынок наш закашлял. Я стал ему греть молоко, по страшной рассеянности делая страшные глупости с примусом... Со встречи праздника вернулись Женя с Маяковским. Он поздравил меня с Новым годом», – вспоминал Пастернак о том, как встретил 1927 год.

Последние месяцы в первом браке Пастернак провел в тяжелейшем кризисе. Он чувствовал себя так, как будто кто-то запер его в тесную, душную камеру. Выхода, казалось, не было. Пастернак долго метался между двумя женщинами – той, которую любил, и той, которую безумно жалел, так что готов был в иные минуты пожертвовать своим счастьем и счастьем новой возлюбленной. Он писал стихи одновременно и той женщине, к которой уходил, и той, от которой уходил. И стихи той, которую он покидал, были сильнее и пронзительней.

В 1931 году их брак окончательно распался.

Вся жизнь Евгении Лурье была посвящена сыну Жене, которого она боготворила. Пастернак постоянно навещал их, дружески делился своими делами и заботами, материально обеспечивал до конца своих дней. Но чувство вины перед ними мучило его всю жизнь. Об этом чувстве вины, о воспоминаниях, от которых некуда деться – его пронзительное ностальгическое стихотворение.

Из поэмы «Спекторский»

Я бедствовал. У нас родился сын.
Ребячества пришлось на время бросить.
Свой возраст взглядом смеривши косым,
Я первую на нем заметил проседь...

1920-е

«Не волнуйся, не плачь, не труди...»

Не волнуйся, не плачь, не труди
Сил иссякших, и сердца не мучай.
Ты со мной, ты во мне, ты в груди,
Как опора, как друг и как случай.

Верой в будущее не боюсь
Показаться тебе краснобаем.
Мы не жизнь, не душевный союз —
Обоюдный обман обрubaем.

Из тифозной тоски тюфяков
Вон на воздух широт образцовый!
Он мне брат и рука. Он таков,
Что тебе, как письмо, адресован.

Надорви ж его вширь, как письмо,
С горизонтом вступи в переписку,
Победи изнуренья измор,
Заведи разговор по-альпийски.

И над блюдом баварских озер,
С мозгом гор, точно кости, мосластых,
Убедишься, что я не фразер
С заготовленной к месту подсласткой.

Добрый путь. Добрый путь. Наша связь,
Наша честь не под кровлею дома.
Как росток на свету распрямясь,
Ты посмотришь на все по-другому.

1931

«Стихи мои, бегом, бегом...»

Стихи мои, бегом, бегом.
Мне в вас нужда, как никогда.
С бульвара за угол есть дом,
Где дней порвалась череда,
Где пуст уют и брошен труд,
И плачут, думают и ждут.

Где пьют, как воду, горький бром
Полубессонниц, полудрем.
Есть дом, где хлеб как лебеда,
Есть дом, – так вот бегом туда.

Пусть вьюга с улиц улюлю, —
Вы – радугой по хрусталою,
Вы – сном, вы – вестью: я вас шлю,
Я шлю вас, значит, я люблю.

О ссадины вкруг женских шей
От вешавшихся фетишей!
Как я их знаю, как постиг,
Я, вешающийся на них.
Всю жизнь я сдерживаю крик
О видимости их вериг,
Но их одолевает ложь
Чужих похолодевших лож,
И образ синей бороды
Сильнее, чем мои труды.

Наследье страшное мещан,
Их посещает по ночам
Несуществующий, как Вий,
Обидный призрак нелюбви,
И привиденьем искажен
Природный жребий лучших жен.

О, как она была смела,
Когда едва из-под крыла
Любимой матери, шутя,
Свой детский смех мне отдала,
Без прекословий и помех
Свой детский мир и детский смех,
Обид не знавшее дитя,
Свои заботы и дела.

«Годами когда-нибудь в зале концертной...»

Годами когда-нибудь в зале концертной
Мне Брамса сыграют – тоской изойду.
Я вздрогну, я вспомню союз шестисердый,
Прогулки, купанье и клумбу в саду.

Художницы робкой, как сон, крутолобость,
С беззлой улыбкой, улыбкой взאהлеб,
Улыбкой, огромной и светлой,
как глобус,
Художницы облик, улыбку и лоб.

Мне Брамса сыграют, я вздрогну,
я сдамся,
Я вспомню покупку припасов и круп,
Ступеньки террасы и комнат убранство,
И брата, и сына, и клумбу, и дуб.

Художница пачкала красками траву,
Роняла палитру, совала в халат
Набор рисовальный и пачки отравы,
Что «басмой» зовутся и астму сулят.

Мне Брамса сыграют, я сдамся,
я ВСПОМНЮ
Упрямую заросль, и кровлю, и вход,
Балкон полутемный и комнат питомник,
Улыбку, и облик, и брови, и рот.

И вдруг, как в открывшемся в сказке сезаме,
Предстанут соседи, друзья и семья,
И вспомню я всех, и зальюсь я слезами,
И вымокну раньше, чем выплачусь я.

И станут кружком на лужке интермеццо,
 Руками, как дерево, песнь охватив,
 Как тени, вертеться четыре семейства
 Под чистый, как детство, немецкий мотив.

1931

Душа моя, печальница...

Брошенной женой Пастернака я не буду. Я буду только его вдовой.
Зинаида Пастернак

Вся суть твоя мне по сердцу

Любовь Бориса Пастернака к Зинаиде Нейгауз зародилась не сразу. Пастернак немного знал Генриха Нейгауза в начале 1920-х. Талантливый, виртуозный пианист приехал в Москву из Киева, вскоре к нему приехала жена Зинаида, красавица – полуитальянка по матери, с матовой кожей и огромными карими глазами. В Москве у них родились сыновья. Жили они душа в душу, часто вместе играли на пианино в четыре руки.

Как-то, будучи в гостях у Пастернака, Зинаида заметила, что его жена часто резко спорит с мужем, одергивает его, что он неухожен. «Мне очень не понравилась жена Пастернака, это невольно перенеслось и на него, и я решила больше у них не бывать...» Зинаиде не было дела до его стихов, но она обратила внимание на его внешность, ей понравились его горящие глаза.

Зинаида проигрывала Евгении в плане личности. друзья говорили, что Евгения была по мерке Пастернаку, а Зинаида была несравненно меньшего калибра. Но Пастернак влюбился сразу, сильно и мучительно, он понимал, что его любовь губительна, но ничего не мог с собой поделать. Зинаида действительно была хороша: высокая, статная, яркая брюнетка. Удлиненный овал смуглого лица, матовая кожа, огромные сверкающие тёмно-карие глаза подсказывали сравнение с живописью итальянских мастеров.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.